

Он нес цветы жене, упал и умер. На улице Пскова.

«Сережа – на всякий случай. Если я откину копыта (отброшу коньки) – как весело приветствует уход русский человек...» «Помня о земных сроках своего бытия (что-то все чаще стал заглядывать “туда”), на всякий случай подсказываю...» Это из последних его посланий. Любое его как бы будничное письмо по мейлу было красочным, трепещущим, переполненным мыслями и чувствами.

Он всегда носил с собой толстую тетрадь, куда просил оставить запись, хотя бы в несколько слов, то одного, то другого, и меня тоже. «Чтобы перечитывать долгими зимними вечерами». Казалось, эта тетрадь, подобная полевому букету, волшебным образом не кончалась, но, видимо, вслед за одной появлялась следующая. У него был какой-то природный нюх на слово. Он был блаженно алчущим правды, выраженной словесно.

*В граде Пскове иноку крылатому
Валентину Яковлевичу Курбатову.
Волчьим нюхом обоняя слово,
ночью прилетает он из Пскова
и пешком гуляет по Москве.
А крыло он прячет в рукаве.*

Стихи поэта его поколения Игоря Шкляревского.

Курбатов написал более двадцати книг о русской литературе, предисловия к собраниям сочинений Виктора Астафьева и Валентина Распутина, которых пытался примирить в 90-е, к сочинениям таких разных Булата Окуджавы и Владимира Личутина.

В день его смерти я впервые прочитал его стихотворение, совсем простое вроде бы, но какое-то очень настоящее, и захотелось заплакать:

*Стоит под звездами старик,
Небесный свод благословляет.
Над ним крест Лебедя летит
И Млечный Путь в тумане тает...*

*Роса жжет ноги старика.
Комар звенит, а он не слышит.
Душа его теперь легка,
И сам он будто выше, выше.*

*И нет ему ни дней, ни лет,
Порядок времени забылся.
Стоял старик. Стоял – и нет.
А в избу мальчишк воротился.*

И еще, на помин его души, с особым вниманием перечитал рассказы его друзей, те, о которых он мне нежно говорил, – «Ясным ли днем» и «Гори, гори ясно» Астафьева и «Избу» Распутина.

В нашем разговоре он многое рассказал о своем пути. До шести лет жил в землянке. Отец был совсем неграмотным, у мамы – два класса сельской школы. Курбатов работал столяром, служил на Северном флоте. Перебравшись в Псков, подвизался грузчиком на чулочной фабрике и корректором районной газеты. А получился изысканный мыслитель, тонкий знаток и толкователь литературы.

Защитник памятников старины, соратник псковских подвижников: иконописцев, музейщиков, архитекторов, реставраторов... Совестьливый и благоговейный хранитель огня русской Античности – «деревенской прозы». Ее больше не будет. Потому что ее нельзя подделать. Она ушла вместе с его друзьями.

Он замечал изобилие новых ярких и красивых, но будто пластмассовых текстов, и ему не хватало в литературе живой души, трудной глубины, страдания, сострадания.

Вспоминаю, как Валентин Яковлевич хрустит на солнечной веранде розоватым яблоком и наборматовывает что-то благородно-возвышенное и вместе с тем пронзительно-меткое; как сажаем и поливаем с ним низкие юные яблоньки в Ясной Поляне; как в Никольском-Вяземском он обнимает, прижимаясь щекой, легендарный дуб Болконского и, озорничая, пытается вскарабкаться, цепляясь за крепкую и выпуклую, похожую на рыцарские доспехи, кору...

Это был необычайно трогательный человек.

Он чем-то напоминал миссионера – празднично-плутоватый, артистичный, но осмысленно сосредоточенный, с седой ровной челкой, обычно в черном сюртуке, с жестким белым воротом под горлом. Его молодецкая статья, острый взгляд голубого глаза, уверенные элегантные движения – все оставляло впечатление личности, захваченной таинственной сверхзадачей. Мастер экспромта, он был тем, кого следовало не только читать, но и слушать и рассматривать.

Велеречивый проповедник сердечности.

Эта речь, льющаяся свободно, как песня, петляла в живых, непрерывных поисках.

«Нужно носить в себе еще хаос, чтобы быть в состоянии родить танцующую звезду», – вспоминался Ницше, когда я слушал Курбатова. В его щедрых словах было что-то стихийное, страстное, поэтическое, интуитивное, как бы ницшеанское. Но только в жажде человеческого совершенства он оказывался, скорее, Анти-Ницше. Румянясь, как сказочное яблочко, звал к любви, братству, прощению, жертве.



Недаром экзистенциалистское «Ад – это другие» у нас так часто превращалось в благодатное самоотречение, сладость приятия чего-то большего, чем ты: «Другие – это рай».

Он был одарен с избытком светлым великодушием, детской доверчивостью миру. Пытался примирить разные эпохи. Нет, не оправдывая жестокость и нечестие, а как-то иначе. Так почва ласково обнимает жертв, палачей, воинов. Их кости и черепа – это бесчисленные, невидимые простому глазу звезды в глубокой темени. Почвенники мысленно помещают себя рядом с неживыми предками, держат ум во сырой земле. Для кого-то такое нерассудочное согласие с трагичностью истории – признак *темноты*, мифологического сумеречного потустороннего сознания. Для кого-то – основа смиренного крестьянского христианства.

Несомненный друг народа, он верил в его прекрасную душу.

Как-то в Михайловском после пошловатого костюмированного праздника, уже в застолье, сообщил:

– А мне здесь одна девочка вон какую частушку спела:

*Не дай, Господи, никóму
На кобыле борновать!
Хвост подымя, рот разиня –
Вся Маньчжурия видать...*

И, промурлыкав эти загадочные глаголы, победно обвел всех сияющим взглядом, мол, знай наших.

– Да вы это придумали, – догадался кто-то.

Но он лишь посмеивался мягким смехом, поглаживая седую бороду и блестя глазами мальчишки.

– Валентин Яковлевич, а когда вы поняли, что книги важны для вас?

– Дедушка мой ничем, кроме Псалтири, не жил.

Родился я в маленьком городке Салаван тогда Куйбышевской области, это поселочек с одной картонной фабрикой. Матушка у меня была путевым обходчиком. И родился я, можно сказать, в будке путевого обходчика. Очень трудно рождался. Ну родился, значит, уже живу в землянке с бабушкой, потому что папенька уехал строить на Урал заводы как рабочий, его в трудовую армию призвали, а маменька и я остались у бабушки. А бабушка раскулаченный из-за того, что у него наемная рабочая сила – тринадцать его детей, спавших вповалку на полу. Дом отняли, но из деревни не выгнали, милосердие еще оставалось какое-то. И он остался жить в погребе, в леднике, где обычно хранят продукты. Сделал там окошечки горизонтальные крошечные, поставил печечку, и я до семи лет прожил в этой землянке. И выучился читать по Псалтири, потому что бабушка ничего, кроме молитвы, не читывал.

– По старинным книгам?

– Я когда пришел в школу, филькину грамоту, без «еров» и «ятей», мне было довольно трудно усвоить сначала, и это было очень смешно.

– Что чаще всего вспоминается из детства?

– Самое нежное воспоминание – мне, наверное, лет пять, я уже стерегу колхозное поле подсолнухов, гоняю ворон... Возвращаюсь после гоняния ворон, неся под мышкою круг подсолнуха, напевая и панически боясь петуха. Здоровенный петух такой, я бегал от него сломя голову. А он нет-нет догонит и повалит.

И самое трогательное – я стою рядом с мамой, она встречает поезда, идущие на фронт. Все на фронт, через этот маленький переезд, под Ульяновском. Она со своим флажком, а я с обломком подсолнуха, и мне из открытых вагонов бросают солдаты кто звездочку, кто кусочек сахара, кто гильзу. Сохранить бы эту коллекцию... Я был дитем всей армии, общим ребенком всего этого идущего на фронт человечества.

Ну а потом, в 1947-м, мы уехали к отцу на Урал на стройку в город Чусовой, и там уж я обитал до самого флота. А я ведь еще собирался в артисты, в художественную самодеятельность, играл в пьесе «Красный галстук» Михалкова, в «Двух капитанах» Каверина, ну, здорово играл, в школе читал пионерские новости дикторским голосом. И куда же? Только в артисты после этого всего. Попытался в «Шуку», провалился в первый же день. Во ВГИК осмелился подать. Прихожу на экзамен, почему-то выпадает мне первым очередь начинать, отвечать, сидят и принимают Сергей Аполлинариевич Герасимов и Тамара Федоровна Макарова. «Ну что у вас, юноша?» Я говорю: «Максим Горький». Ну они сразу поняли, раз Горький, значит, парень-то ого-го, с Немировичем-Данченко у него и с Константином Сергеевичем все завязано навсегда. «Песня о буре-вестнике». Как начал кричать «Песню о буре-вестнике», ну тогда шел фильм «Сказание о земле Сибирской», и как Дружников там: «Над седой равниной моря ветер тучи собирает...» – «Ты чего разорался? – говорит Герасимов. – Ты хоть отойди к подоконнику, встань вот там, у косяка двери, и опиши мне это море». Я пошел, встал, начал описывать, уже без пафоса... «Ну можешь же. А спеть что-нибудь?» Я ему спел немедленно песню. «А сплясать?» Матросский танец «Яблочко». Сразу на третий тур, даже второй пропускать. Это главный уже, профессиональный.

Но я от стыда пошел и забрал документы... Не знаю, почему. И ушел на биржу актеров. В саду Баумана сидят режиссеры, а мимо них ходят актеры с лицами довольно независимыми, но у каждого в папочке то портрет Гамлета, которого он играл когда-то, то Офелии... А мне показать нечего, кроме ослепительно голубого пиджака, который я взял у мальчика со студии Довженко, жившего

вместе со мной в этожитии. Небесной голубицы пиджак, нестерпимо сияющий, совершенно... И в этом прогуливаюсь. Наконец какой-то старик седой говорит: «Иди! Чего можешь?» Я говорю: «Все». – «Давай тогда». Я ему басню Крылова: «Ворона и Лисица», потом спел, сплясал. Договор тотчас же был подписан с театром Балтийского флота. «У вас есть перспективы, юноша, я держав вас взять». Лечу в родной Чусовой, усталым перстами стучу в окошко Кларе Финогеновне Мартинелли, гречанке, которая учила меня в самодеятельности, и говорю усталым голосом уже Шмаги, провинциального актера, подержанного: «Сначала на выходах, потом посмотрим, перспективы есть...» Прихожу домой а там повестка лежит на флот. Я метнулся к военкому: «Что же вы делаете? Я подписал договор с театром Балтийского флота!» – «К сожалению, молодой человек, на флоте позарез нужны не артисты, а радиотелеграфисты». Так и загремел и служил четыре с половиной года на Северном флоте, на крейсерах «Василий Чапаев» и «Александр Невский».

Крейсер – это довольно большое сооружение, без малого 600 человек. Своя газета выходила «На боевом посту». Я подвизался наборщиком в этой газете. Каждую буковку в так называемую верстатку вкладываешь. Каждая запятая отдельно... Складываю это все, радио постоянно включено, и вдруг голос всем знакомый и родной: «Работают все радиостанции Советского Союза. Сегодня, 12 апреля 1961 года...» – и как только сказал «в космосе» и «Гагарин», я отбросил эту верстатку, она полетела, засверкали эти буквы, кувыркаясь, запятые, точки, рассыпались по всей корабельной типографии, и вылетел на палубу. А корабль идет к Новой Земле, море кругом. И остальные выбежали, такие же сумасшедшие, глаза вытаращены у всех. А деть куда этот восторг? В Москве-то вышел на Красную площадь, и ликование, а тут некуда деться.

Кажется, последнее было, правда, потрясение. То есть когда мы действительно были народом. Последний раз 12 апреля мы были единым народом. Это был взлет какой-то, все мы взлетели, все мы были в космосе в этот день...

А в корабельной библиотеке меня спас Камю, «Миф о Сизифе», когда уже сил не было служить. Я вдруг понял, что закатываю камень, который упадет сразу, завтра же скатится вниз. Но я с тем же спокойным лицом говорю: «Ребята, вы меня не возьмете. Пусть он упадет. А я сейчас подниму и еще погляжу вам в лицо». И стал так отважен, и так счастливо дослужил, формируя библиотеку.

Михаил Кураев, прозаик из Петербурга, служил после меня там уже, на том же крейсере. «Какая там была библиотека...» Я говорю: «Миленский мой, библиотекарь сидит перед тобой. Я доставал тебе все, что можно, все, все». И выпускал газету «Искусство и мы». И читал вслух своим товарищам, морякам, книжку Владимира Николаевича Турбина, преподавателя Московского университета, воспитанника Михаила Михайловича Бахтина, которая называлась «Товарищ время и товарищ искусство». И там была такая мысль, потрясавшая новизной: иллюстрации к Толстому, к «Войне и миру», Пикассо же должен, конечно, делать, потому что Наташа лепечет о Пьере: «Тот синий, темно-синий с красным, и он четверугольный...»

Я ночи напролет читал в библиотеке. Часто даже на утреннюю поверку объявляли по громкоговорящей связи: «Старшему матросу Курбатову подняться на подъем флага». А я-то спал, после ночных мятежей в библиотеке. Быстрее, быстрее, бескозырка надета, все, взлетаю... «Так что вчера вам сказали господа Камю с Сартром? – спрашивает старший помощник, замечательный капитан первого ранга. – Потом зайдешь ко мне, о Гогене поговорим». Это 1961–1962 годы...

А однажды в библиотеку часа в три вломились начальник особого отдела и замполит. Немедленно меня на дыбу, на ковер. Но обнаружили, что парень ну уж очень хочет, чтобы все было в России передовое, высокое и самое умное,

и этот капитан особого отдела так проникся нежностью, что начал снабжать меня запрещенными книжками, которые они успевали где-то изымать, издательства «Посев» и так далее...

– **Помните свой первый текст на суше?**

– Демобилизовался, и первую заметку написал в газете «Комсомолец Заполярья». Там на развороте эпитафия была из поэта Николая Грибачева: «На всех фронтах даем сегодня бой». А я дал бой в своей заметке Сальвадору Дали, Джексону Поллоку, Хуану Миро, Джорджо де Кирико... Дал прикурить ребятам. Если бы они читали газету «Комсомолец Заполярья», у них бы кисти выпали из рук, но не читали, подлецы, поэтому остались художниками. А сегодня говорят: «Как тебе не стыдно? Ты сознаешься в этом». Я говорю: «Миленькие, я бы и сейчас написал то же самое, только умнее, потому что любви у меня к ним не прибавилось».

– **Но при этом видите Пикассо иллюстратором «Войны и мира»... А как вы попали в Псков?**

– Случайно совершенно. Один мальчик на флоте попросил: «У меня бабушка, больше никого нет. Мне еще три года служить, помогите бабушке чем-нибудь». И я поехал в Псков, встретился с бабушкой, поселился у нее, бабушка оказалась замечательная.

Правда, через год я от нее сбежал, потому что каждый день она мне рассказывала, как видела Ленина в 1922 году, в одних и тех же словах. Потом, когда я познакомился с Виктором Борисовичем Шкловским в Переделкине, он тоже начал рассказывать о Ленине. Я говорю: «Я почти знаю, как это...»

– **А что говорил Шкловский?**

– Шкловский меня совершенно пленил. «Владимир Ильич выступал перед нами, перед нашим бронедивизионом, на машине с открытыми этими...» – «Бортами», – ему подсказываю. Пренебрег: «С открытыми крыльями... Он обращался налево, обращался направо, он никогда не падал с площадки, у него было поразительное чувство пространства!» Я запомнил эту черту Ленина: ни разу не упал, хотя обращался налево и направо. Чувство пространства. Виктор Борисович, как дитя малое, восхитился.

– **Итак, вы совсем случайно стали псковитянином...**

– И вся жизнь в Пскове, хотя не знал и не думал, что так суждено. Устроился корректором в районную газету. Целых 50 рублей была зарплата, 25 за квартиру платил и на остальные 25 курил папиросы «Казбек», был независим, легок. Понял, что не вытяну, пошел грузчиком на чулочную фабрику, а там аж 65 рублей давали. И писал все время заметки в газете «Молодой ленинец», поскольку любил театр самозабвенно. «Валентин Курбатов, комсомолец» подписывался. Все понимали, что тут, брат, не забалуешь, тут взгляд строгий. Однажды редактор вызвал и говорит: «А что если комсомолец Курбатов у нас поработает в штате?» Я говорю: «У меня, извините, образование-то 10 классов». – «А это ничего, мы потом догоним». И я устроился в газету на целых уже 115 рублей. Ну а потом во ВГИК на заочное пришел.

– **Больше с Герасимовым не пересекались?**

– Ну а как же. История любит все-таки сюжеты... Я уже окончил ВГИК, прошли годы, и челябинское издательство вдруг заказывает мне книжку о Сергее Аполлинариевиче, потому что он из тех мест. Я звоню Тамаре Федоровне, она, естественно, меня не помнит и не знает, иду к ней на свидание, они жили в гостинице «Украина». Первое, что вижу в квартире в прихожей, – Тамара Федоровна и Сергей Аполлинариевич в роли Софьи Андреевны и Льва Николаевича. Огромная фотография в рост. Я захожу и говорю: «Ой, Софья Андреевна, а у меня для вас неожиданный подарок. Вот такая книжка: критик Стасов. Какую низость

он про вас написал... Вы помните, он приезжал к вам в 1904 году? И видите, пакость какую написал, что слуги нечесаные, в уборной отвратительно, и есть ли в доме хозяйка?» Она меня чуть не убила. Потом говорю: «Простите, Софья Андреевна». Она тогда засмеялась, сразу поняла, что мы оба заигрались немножко. Засмеялась, книжку эту отдал. Первое, что я увидел в гостиной, – это аквариум, наверное, литров на тридцать, и в нем лепестки роз, подаренных Тамаре Федоровне. Этот безобразный мавзолей славы...

А Сергей Аполлинариевич мне понравился. Вот о нем бы я написал с нежностью, но испугался Тамары Федоровны, не стал. У него была высокая порода. Он был не из тех, кто прогибается. Все, что он делал в кинематографе, было полностью лишено суеты...

– Да, «Лев Толстой» – его последняя работа. Съёмки были в Ясной Поляне, и он, игравший Толстого, лег в гроб, будто репетируя свою смерть. И вот теперь вы говорили о нем здесь, в Ясной Поляне. И рядом с нами на веранде сидит моя жена Настя, прапраправнучка Льва Николаевича, а между тем Сергей Аполлинариевич – мой двоюродный дед... И я ребенком успел познакомиться с ним в той квартире в гостинице «Украина».

– Как все складывается, однако, Сережа! Все поразительно связано со всем!

– Вы как-то признались, что недолюбливали, когда вас называли «критик».

И все же из чего родились ваши работы о литературе?

– Мы переписывались с Турбиным еще во флотские времена, и он в «Молодой гвардии» нет-нет цитировал меня, какие-то разные штучки. «Приезжайте давайте наконец, и мы с вами запируем на просторе». Вначале после демобилизации я приехал к нему, на Каланчевку, и там жил в стареньком доме, на проваленном диване. Но он меня погубил, дав мне прочитать книжку Павла Николаевича Медведева «Формальный метод в литературоведении», которая на самом деле написана Бахтиным Михаилом Михайловичем, но тот оттого, что находился в лагере, учеником подписался, чтобы она была просто в природе. Настолько мощная, сильная, блистательная, что я прочитал и сбежал с этого диванчика, как и с третьего тура. Сбежал, потому что понял, что я никогда не смогу так написать.

А Турбин, конечно, уговаривал одуматься: «Не надо, что же вы делаете со своей жизнью!»

– **Одумались? Стали критиком?**

– Грешный человек, я себя им и не считаю, как не считаю себя и писателем, простите Христа ради. Ну никак не могу привыкнуть, все время я думаю: о ком это? Кого это так представили? Серьезность не выработаю никак.

– **А кем вы себя ощущаете и осознаете?**

– Скорее, ну не знаю, просто вот человеком, которому интересно думать об этом мире. Думать с жадностью и ненасытностью, вот эта отроческая, детская черта сохранилась.

Я говорю, что умру, не получив паспорта. Мне четырнадцать не исполнится, когда я умру.

Потому что все это подростковое желание увидеть, насладиться, воскликнуть – это не критика, а это попытка разделить мысль тотчас же с другими, со всеми поделиться.

«Да, ребята, я прочитал вчера такое, сейчас я вам расскажу!» – и жадно хватая цитаты, начать... Это, скорее, эссеизм в европейском, наверное, понимании, когда важнее оценки книги параллельное существование в этом тексте в жизни.

И ты все время вторгаешься в мир, и в тебе больше жизни, чем текста. Потому меня сегодня так ранит, что литература перестала иметь отношение к жизни,

перестала быть жизнью, а стала только текстом. Мне просто тексты анализировать скучно, хочется, чтобы в них вставали рассветы, падали туманы, бежали животные, лаяли собаки, пели петухи... А они теперь этого не делают!

Литература большого стиля, как можно назвать сегодня, – Астафьев, Распутин, Белов, Абрамов – были именами общенациональными. Ими можно было перекидаться в ночи, этими именами. Все знали, о чем идет речь... О той мощной земной идее, которая там была. Эта земная идея держала мир да и нас, грешных. И я понемногу, вот так свела судьба, начал писать о них, постепенно о том, другом, третьем, четвертом. И начал складываться и сам.

– С кем вы дружили из писателей?

– Больше общались мы с Виктором Петровичем Астафьевым, в котором меня сама жизнь пленяла. Одна переписка у нас почти тридцать лет занимает, из этого возникла книжка «Крест бесконечный».

Дружил я с Юрием Нагибиным – ветреник, озорник, красавец, шутник, стилист, все на свете.

Владимир Николаевич Лакшин, с которым в Изборске мы залезали на крепостные стены, и он выдыхал: «Ах!», потому что вся Россия перед нами открывалась сразу, а я подтрунивал: «Ну вы же художник, найдите властный глагол для определения. Тут и Распутин говорил: “Ах!” У всех одно и то же, они что, не знают глаголов никаких?»

Александр Михайлович Борщаговский. Это была высокая школа. Его слух, его чутье театрального пространства... Я жил у него, когда приезжал в Москву.

От каждого, от каждого цветка понемногу...

Но чаще всего обращаюсь к Валентину Григорьевичу Распутину.

– Почему именно к нему?

– У него было то исповедное существование в литературе, которым более никто не владел. Ни одного мимолетно, случайно сказанного слова, недодуманной мысли, нигде, никогда. Молчалив, взвешен, терпелив, каждое слово как служение.

– Таинственное явление.

– Да, и таким и оставшийся для меня... Он же умер, Валентин Григорьевич, потому что умер тот народ, который он писал, ему дальше писать было нечего. Он попробовал было понять новый. Появился рассказ «Новая профессия» о каком-то мальчишке, устраивающем свадьбу, есть профессия такая. Попытался заглянуть в этот мир хоть как-то. Но видно, что писал, как будто шел на цыпочках по толченому стеклу, выбирал слова, потому что это не его. Попробовал он описать метафизическую часть: «Что передать вороне?», «Наташа», но тоже не совсем его тон был. Фактически закончил он в 99-м «Избою», рассказом, повторением «Матеры» фактически. Он вернулся все-таки в то пространство, которое было его сердцу ближе всего.

– По-моему, «цыпочки» – это вообще про него. У него был бисерный почерк.

– Микробный почерк, не бисерный – микробный. У него из одной рукописной страницы получалось двенадцать машинописных страниц!

Я первый раз увидел: лежит листок, и полоски такие тоненькие. Я говорю: «А это что?» – «Рукопись, а что?» Я пригляделся: «Матушки, что тогда сумасшедшим домом-то называется, если вот это рукопись?» Там ничего разобрать нельзя, полосочки тоненькие. Японскими тончайшими карандашами. С четырехкратной лупой я только мог читать. А он писал сверху еще более микробно. А перепечатывал сам все рукописи – кто же, ни одна сумасшедшая машинистка за это не возьмется. Я говорю: «Валя, что с глазами?» – «А что с глазами? Вот, бывало, – говорит, – приду на берег Ангары, – а Ангара, извините, пошире Москвы-реки, – читаю на той стороне: “Куплю, сдастся, продам”». Специально

нарочно едет на трамвае четыре остановки, и с той стороны читает: «Куплю, сдастся, продам». Зрение было! И в прозе – тончайшее, взвешенное, выверенное до миллиметра.

Вот астафьевский почерк корявый, всякий, перевальный, похож на повести, на описание, чуть косноязычное временами.

– Стихия, как в «Царь-рыбе», захватывает, клокочет.

– Ну он одноглазый же был, потому и почерк...

– Вы ведь жили с Астафьевым в одном городе?

– Да, в Чусовом. И я знал, что Витька-то Астафьев работает в «Чусовском рабочем», за пивом ходит. «Ха-ха, Астафьев, писатель». Прошли годы, и Астафьеву пятьдесят, он зовет на юбилей псковского писателя Юрия Николаевича Куранова: блистательный был стилист, теперь забытый раз и навсегда.

– Я читал. Очень лиричная проза.

– «Давай поедем, тебе писатель-то Астафьев неинтересен, а вот на Вологду хоть поглядишь». В тех краях тогда Астафьев жил. Приехали в Вологду, выходим из вагона, Виктор Петрович здоровается с Курановым, а единственным глазом глядит на меня: «Не тебя ли это, брат, я видел году в 1947-м в Чусовом собирающим окурки у железной дороги?» Я чуть не умер. Я на флоте вырос на двенадцать сантиметров, а так был самый маленький в классе. И вот за бороденкой найти, опознать, увидеть семилетнего мальчика, собирающего окурки в городе Чусовом. Я говорю: «Юра, дай мне прочитать что-нибудь этого мужика немедленно, сейчас же». Он мне дал рассказ «Ясным ли днем». Рассказа такой пронзительной силы и сейчас еще нет в литературе. Я обрелся над ним...

– Чистый и сильный рассказ...

– Утром пришел, повалился в ноги, говорю: «Не погуби, Виктор Петрович, так мог и прочваниться чусовским своим высокомерием». – «Я еще лучше могу. Учить вас, дураков!» И с той поры уже не разлучались.

Это был 1974-й, начало мая, а 25-го числа я уже приехал в деревню Сибла, где он жил. Договорились о встрече, 70 километров на попутной машине, иду себе, напеваю, счастливый. «Ну сейчас, – думаю, – выпьем, посидим с Виктором Петровичем, обнимемся». Прихожу, на двери вот такой замок висит. Договорились, называется. И сейчас же, как в кинематографе или в театре – дождь раз! – ливнем, и старушка соткалась из воздуха: «Ой, сынок, ты к Петровичу приехал? А он искренно собрался и уехал». Я говорю: «Хорошенькая искренность». «Искренно собрался и уехал. Но обещал завтра с утра быть. Ты пойдем ко мне, пока вот у меня побудешь». Пришли, она говорит: «Петровича давно видал?» Полезла за божницу, и там у нее уже зеркало стоит вместо Спасителя, но в красном углу, вытащила газетку «Харовский рабочий», отвратительный портрет Виктора Петровича, жеванный какой-то, на первой полосе, газета как из опилок сделана. «Вот, – говорит, – ты ночевать-то у меня, сынок, не сможешь, я девушка, извини меня, хоть и восемьдесят два года, мало ли чего скажут, у нас деревня маленькая, я тебя к Петьке-механизатору свожу». Пошел к Петьке-механизатору. Только вошли, Петька говорит: «Петровича давно видал?» Полез за зеркало и достал «Харовский рабочий» с этим же портретом. Завтра, говорит, приедет. Ну действительно, на завтра приезжает Виктор Петрович, обнялись. Ну а «искренно» – это «экстренно» оказалось. Он ей сказал: «Экстренно мне надо». Экстренно собрался и уехал. Ну и сели тут уже, обнялись, и он начал читать мне один из лучших своих рассказов, «Гори-гори ясно», из детской серии рассказов его, о девочке, которая первый раз является в его жизни там на берегу. И воспоминания, конечно, ошеломляющие. Он в куфайчонке греется, кашляет без конца этими сожженными на войне легкими. Потом ему пырнули ножом за газетку в «Чусовском рабочем», пробили эти же легкие...

– За что?

– А в газетку критическую заметку написал. Подстерегли на улице и пёрнули за правду.

– И Распутина по голове били.

– Да, били... Но вроде как грабители за джинсы, которые ему кто-то привез, он сам-то ни во что не наряжался, а кто-то подарок ему сделал.

– Вы сохранили общение с Астафьевым уже после его разрыва в отношениях с ближайшими друзьями.

– Я измучился с этим больше всех. Сколько, сколько на него кричал!

– Говорят, вы почти заставили его переписать одну книгу.

– «Печальный детектив» он показал мне в рукописи, и я говорю: «Виктор Петрович, жизнь все-таки дама милосердная... Захотите удавиться, мало ли чего, жизнь к краю подошла, и петлю начнете накидывать на шею – обязательно котенок подойдет Барсик, потрется о штанину, или девчонка засмеется за окном, упадет солнечный луч, Господь скажет: “Старик, ты куда? Подожди!”» А у вас, смотрю, матушки мои, котенка нет, девчонка не засмеялась, солнечный луч не упал. Что же вы делаете?» – «Вот найду бабу, женский характер, она у меня все там озарит и все вспыхнет, и увидишь...» Бабу не нашел, а напечатать напечатал. Потому что редактор «Октября» Ананьев, опытный человек, понимая, что двигается мир в черную сторону, жадно кинулся, извлек и тотчас напечатал. Я пишу: «Что же вы делаете, Виктор Петрович? Баба-то где?» Замолчал вдруг, хотя переписка все время была... Молчок.

А незадолго перед этим он пишет: «Ты все бороденкой пол в церкви метешь, а предисловие-то к Мельникову-Печерскому заказали мне, а не тебе». Говорю: «Как вам не стыдно?» – «Чего такого?» – «Так Мельников-Печерский – это же не просто православное христианство, это старообрядчество. Удвоенная сложность. Как же вы дерзнули согласиться-то на это, церковного порога не переступая?» – «Ну тогда сделаем так: ты напишешь предисловие, я матюги только расставлю для национального колорита, а подпишемся вместе». И тут вот поругались из-за «Печального детектива», и я получаю записку: «Раз уж мы договорились, прошу предоставить свою часть текста». Я пишу ему: «Виктор Петрович, как же вы не могли догадаться, что мне написать вам укоризненное письмо было тысячу раз труднее, чем вам его прочитать при моей любви к вам, при высочайшем уважении? У меня каменело перо от отчаяния, пока я писал, что ну нельзя нарушать правила жизни...» – «Ладно, приезжай, разберемся».

Я прилетел в Красноярск, приезжаю в Овсянку. Виктор Петрович в огороде картошку копает. Ведро переставляет, пот вытирает, в куфайке, клубни стучат. «О!...» Вышел, обнялись, люди потому что кругом. Говорим громко, смеемся картинно, чтобы не выдавать. Выпадает свободная минута: «Виктор Петрович, пойдем на берег Енисея и перестанем говорить громко и смеяться картинно, возьмем чекушку и перестанем». – «Возьмем, пойдем». Мы пошли, и в общем, выяснили все... Развязали эти узлы, поняли, что настоящей драмы мировоззренческой не происходит, и через полчаса с речки, с Енисея уже раздавалось пение. Его Мария Семеновна глядит в окно с тревогой: «Че там мужики пошли на берег?» и слышит: «Глухой неведомой тайго-ою... Мы возвращаемся обнявшись уже, она понимает, что все... И вечером она мне говорит: «Картошку-то выкопали мы с теткой Анной, а это для тебя были оставлены четыре куста. Он как услышал: “Едет!” – и куфайку на себя...»

– Чтобы доказать, что от земли не оторвался?

– Вот вы, шелкоперы, катаетесь взад-вперед, вам слова только, а мужик для вас картошочки добывал... Театр одного актера для одного зрителя.

А сложно было, когда в его последних вещах, тех же «Проклятых и убитых», этот мат пошел. Я все писал ему: «Виктор Петрович, мат не имеет права на письменное существование».

– Почему?

– Всякий раз, когда ты видишь его на стене, тебя ранит, просто по глазам бритвою полощет, потому что Кирилл и Мефодий азбуки для мата не написали, у него азбуки нет. Он устного бывания предмет. Он только в устной ситуации, когда что-то случается, и ты вот так кричишь, это вне тебя. А когда ты написал это все, ты включаешь элемент тиражирования того, что единично. И вот в книжке написать матерные слова, тиражировать то, что существовало один раз и в одно мгновение – это нарушение правила просто вот...

И Евгений Иванович Носов девятнадцать страниц мелким почерком исписал: «Виктор, ты чего же делаешь? Мы что, с тобой в разных армиях служили? – А оба рядовые. – Ты что позволяешь, что Толстой не делает? Или он на другой войне был, что позволял себе этого не употреблять? Что ребята тогда не употребляли вот таких глаголов, в севастопольской кампании, может, еще порешительнее?» Ну Виктор Петрович надулся сразу: нет, Женька-друг ничего не понимает. «Как говорили мы тогда, так и пишу».

Я часто пытался выгораживать его, защищать... Однажды в 90-е в прямом эфире одного патриотического радио осмеливался рядом с Львом Николаевичем помянуть военное прошлое Виктора Петровича и его прозу. Началась такая свистопляска... Звонки: «Да как вы смеете... Этого предателя, эту фашистскую сволочь...» Я говорю: «Ребятки, какая жалость, что я не вижу вас, а только слышу. Вот если бы видел, с каким лицом вы это произносите».

А надо было видеть и Виктора Петровича, когда пойдет себе в баньку в прохладную, – в жаркую нельзя, сердце большое, – и там живого места нет, все тело истерзано, взорвано... Значит, заплакано какое-то право на то, чтобы это говорить.

Можем не соглашаться, но, видно, надо было переболеть этой частью правды, она должна была быть выговорена.

А он сам уже писал в одном из писем мне: «Какой я писатель? Назьма лопата». «Назём», навоз – сам себя... «Назьма лопата», но, добавлял, что эта «назьма лопата» в каком-нибудь огороде кому-нибудь пригодится когда-нибудь в грядущем. Он, может, не будет повторять ошибок, но вырастет из этого...

– Астафьев, хотя, как считалось, и перешел в «либеральный лагерь», костерил своих как бы единомышленников грубо и неполиткорректно, вполне в духе тех «патриотических сил», с которыми вроде бы разорвал.

– Конечно, вот как ни странно...

– Он ведь очень сильно страдал?

– Да, да, да. Мальчик, детдомовец в нем жил все время, детдомовцев бывших не бывает, это неизживаемая болезнь. И детдомовец все время защищается, тырится все время.

– Тырится?

– Тырится, ну пялится так и заводится, на калган берет. «Я тебе как дам...» И большевиков на дух не переносил всех на свете до обобщения безобразного, которого нельзя было позволять себе. «Вон у нас, – говорит, – за огородом вон там жили засранцы...» Они для него все по именам, он обобщенного понятия не знал, он знал «вот этого дурака», «вот этого подлеца», Катька Петрова, Юрка Болтухин...

Живу у него в Овсянке, и он вдруг говорит: «Ну поехали, съездим, навестим». Мы едем к тетке его Августе, слепая тетка, одна живет. Сын в тюрьме. Тут Ле-

нин, тут Никола Чудотворец, все вместе в одном красном углу, вырезки из газетки. Чугунки двигает слепая совершенно. Я пытаюсь помочь, сразу он мне по рукам как даст! «Гуманист херов, иди отсюда! Тоже мне... Она перепутает там чугунки-то. Если хочешь оставаться, оставайся и живи с ней постоянно, если разом, извините, вы с вашим гуманизмом...» Ну она криком кричит: «Помру одна, найдут по запаху, сколько можно, Витя...» Мы выходим, я говорю: «Ну вы хоть бы утешили, сказали что-нибудь». – «Что я, этим глаголом детей ее из тюрьмы вытасу или от одиночества ее избавлю? Выкричится, и пусть, и хорошо, и сейчас ей будет полегче, она выоралась, и ладно. Наорала на меня там, наплакалась, сейчас полегче».

Потом едем к деду Карпо. Дед Карпо умирает от рака. И тоже говорит: «Витька, ну пристрели, Христа ради, ну сдохну же, разлагаюсь». И тоже кричит, а тот ничего, сидит, слушает. Уходим, тоже ни слова утешения, ничего. «Ну что я, – говорит, – могу сделать? Рак. От рака я его не избавлю, слова все будут бессмысленны, он знает бессмысленность слов. Ну рядом посидели, за руку подержал». Вот.

Поехали к матушке его, к мачехе, которую все дети родные бросили. Виктор Петрович, который молотком в нее пускал в двенадцать лет, хорошо, не убил, он один за ней приглядывает, все бросили. И вот он берет на себя все страдания, они же никуда не деваются... И крик этой тетки, этого деда Карпо, этой мачехи, все в его сердце. Все страдания там.

Помню, в Овсянке увидел, у него висит фрак, туфли, говорю: «О, бабушка *там*, наверное, порадовалась, думала, Витька-то у меня по тюрьмам сгниет, а оказывается, вон какую лопотину себе справил!» Спрашиваю: «Для бабушки ведь шил, не для себя же?» Он говорит: «Да, для бабушки Екатерины Петровны...»

– Как вы пришли в Церковь?

– Это странный такой путь, кроме того, что выучился читать по Псалтири. Приехали в Чусовой, матушка все время в церкви. Вот она привела меня на Рождество, мне уже девять лет, ночная служба. Так сел, так, потом на коленочки, потом присел на задницу, простите, потом брякнулся, башкой об пол треснул, проснулся: «А, батюшки православные, в церкви я заснул». Заснул, ударился, проснулся православным. (*Смеется.*) Ну и, в общем, ходил-то уже пореже, и неудобно было, мы же пионеры, нельзя, доглядывают, но крестик был зашит у меня в школьной тужурке и даже под пионерским галстуком.

– Даже у меня был крестик зашит на уроках физкультуры.

– А я все время так и носил этот крестик, вот. А будучи на флоте, естественно, церковного порога не переступал. В Пскове иду в Троицкий собор, стою всенощную, тогда служил келейник Сергия Страгородского митрополит Иоанн Разумов. Владыка так крест дает: бабушка, бабушка, бабушка, через мою голову следующей бабушке. На следующей, через год, пасхальной службе опять иду к кресту уже деревянными ногами, и тот же владыка: «Зовут как?» Залез в подрысник, вытащил служебную просфору: «На, и смотри у меня!» Что он там прочитал во мне, не знаю, но это был самый первый знак прозорливости. «Смотри у меня!» Через год я его хоронил, он был здоровенный, вот с этот стол размером, у него и плечи такие же... В катафалк нельзя было поместить гроб, пришлось на бок класть, чтобы донести. Новый приехал митрополит впоследствии, Санкт-Петербургский и Ладужский Владимир. Секретарь идет: «Пропустите владыку». Старухи вот так держат, железные руки: «Наш владыка вот лежит». И не пускали, насильно просто раздвигали уже их руки, настолько было...

И вот я вел «Домашнюю церковь», передачу на псковском телевидении, даже общество сочинил, религиозно-философское, в продолжение тех бердяевских и соловьевских обществ.

– И, конечно, знаменитый иконописец архимандрит Зинов участвовал?

– Ну конечно. Но отец Зинов, он чихать на нас хотел, все-таки он государство самостоятельное. У меня есть книжка «Батюшки мои», она вся о нем. Я хотел написать сначала о всех батюшках, которых видел в жизни, с восклицательным знаком: «Батюшки мои!» С ужасом, с одной стороны, а с другой – с восхищением, а когда начал, понял, что, кроме отца Зинона, я написать никого не могу. Он вытеснил всех. И эта книжка целиком посвящена ему до последнего года, когда он меня просто прогнал вон, потому что я начал вмешиваться в жизнь Мирожского монастыря. Он выгонял навсегда сразу – самых близких. Я пытался их пригреть, кого-то обнять, его усовестить, он сказал: «Все, Боживар не выдержит двоих. В монастыре должен быть один наместник. Прошу оставить». Все. Хотя до этого мы были неразлучны совершенно и служили вдвоем литургию, я и чтецом, и певцом. А он никогда не ленился послужить вдвоем. Проповедь, скажет, для одного...

– Ваше отношение к отечественному XX веку менялось?

– Я действительно советский человек. Дитя этой советской страны, что совмещаем с Церковью. Даже первое поколение коммунистов для меня – это те, у кого было святое верование в устройство царства Божия на земле, готовые за это погибнуть. Хотя в партии не был, и не приглашали, все время какие-то дерзости писал, все время поперек. О кинематографе ли писал, о литературе ли, все – поперек.

Когда кончилось с советской властью, помощница нашего псковского секретаря по идеологии, уезжая в Израиль, передала мне большое количество доносов, на меня написанных, они скапливались все, на каждую мою газетную заметку.

Но при этом я оставался советским ребенком в самом чистом разумении, каким и сейчас остаюсь. И все еще думаю, чем же он был в самом деле, Советский Союз, столь нами поруганный и осмеянный. Этот период истории должно оглядеть в собственном сердце и найти ему подобающее, покойное, естественное место. Это твое собственное сердце, твоя часть истории.

– Личная биография? Как не выбирают родителей?

– Мы нажили этот период, он был почти неизбежен, закономерен, как движение стихии, природы, воды. Но не мы пренебрегли Союзом, а нас заставили пренебречь. Я вот даже смотрю, скажем, книги серии «ЖЗЛ», которая пытается зарастить эту рану человеческую, когда все книжки подряд поставишь и прочтешь. Здесь и ваша книга про Катаева. Слава Богу, эта работа делается и постепенно возвращает нам генетическую целостность.

– Но вы дружили с убежденными антисоветчиками-диссидентами?

– Мы с Леонидом Ивановичем Бородиным, прошедшим тюрьмы и лагеря, много об этом говорили. Я был в его лагере, где он сидел. Две кровати друг над другом, два метра на два, это невозможно, ты задыхаешься через две минуты. Никогда от него не слышал слова «камера». «В тесном помещении мы были вдвоем со своим товарищем и ненавидели друг друга за эту тесноту». Но у товарища оказалась «Анна Каренина», и они читали по одной главе, не больше, и полюбили друг друга очень нежно и сердечно.

Бородин был причастен к такому национально-освободительному движению, к заговору, и оставался человеком последовательным до конца. То, чего хотел Леонид Иванович – того самого царства Божия, воплощения чистоты, и он был служителем этой чистоты до последнего часа. Леонидом Ивановичем можно было градусы измерения какие-то... единицу измерения в «Бородиных» ставить, такой это был чистоты человек...

Ну и многие те, кто на чужбине, в изгнании или добровольно уехали, они унесли с собой Россию, как улитки раковину на себе утащили, и они договари-

вают ее честнее, нежнее, чем мы здесь, на русском языке пишат чище, бережнее, а мы здесь все развеяли по ветру...

– А вы с Солженицыным общались?

– Прихожу на его премию, вручается Инне Лиснянской... А мы забились за фортепиано: Владимир Бондаренко, Владимир Личутин, Дмитрий Михайлович Балашов и я. Говорю: «Не бойся, малое стадо», и мы стоим там. Александр Исаевич, как воспитанный человек, идет с бокалом. Говорит с Вовкой Личутиным о его густопсовом языке, у Вовки же чревеса и утробы, у него же язык такой, что вообще страшно. Потом к Балашову, «XII век» там раздается... Ко мне направляется: «Отчество как?» Я говорю: «Что, остальное вам во мне совершенно известно все, если вы только отчество спрашиваете?» – «Не было бы известно, вас бы здесь не было», – так ласково сказал Александр Исаевич. Ну и дальше пошел уже разговор про критику: «Читал, где не совсем с вами соглашаюсь, с некоторым совсем не соглашаюсь, но вот уважения к вашему мнению все равно придерживаюсь». Он достал карандашик вот такой вот, меньше мизинца, и блокнотик меньше безымянного пальца, и этим карандашиком в этом блокнотике записал мое отчество. Я говорю: «Это в случае шмона, чтобы в парашу, и следа бы не было?» И у нас фотография есть очень смешная, Вовка Бондаренко снял. Солженицын меня держит за пуговицу, и оба хохочем, потому что... Попробуй рассмешить автора «Архипелага ГУЛАГа».

Александр Исаевич не проходит по части русской литературы, как Тургенев, Толстой, он в этот ряд не помещается, это новое совершенно качественно явление, свидетельские показания на Страшном суде России. «Вызывается свидетель Солженицын А. И., дело № 4. Александр Исаевич...» и так далее... «Вопрос». И он отвечает по делу. Это дело, которое провел Александр Исаевич, том за томом, судебные показания, а не литература в старинном понимании. Почему я не любил «Матренин двор», грешный человек, и сейчас не люблю. Там есть какое-то странное обобщительное страдание русской женщины. По-моему, Виктор Петрович писал стократно глубже, и Валентин Григорьевич. В «Матренином дворе» есть тип русской женщины, старухи, ты чувствуешь обобщение, а у них все единственные, каждый единичен. Ну это недуг Александра Исаевича, у него все время чуть-чуть «итога». Итого! Итого! Итого! Ладно, Сережа, бросьте все, давайте забудем...

– Куда идет Россия?

– Сегодня мы стали однодневны и так стремительны, что у нас как будто нет позади истории и впереди ее нет. Мы живем только сегодняшним днем и тем кратким плоским мгновением, как фотография со вспышкой.

Я скорблю я из-за нарушаемой целостности, непоследовательности русской истории, что мы так капризно движемся и не можем найти себя. Сейчас люди устали. Не начерчен вектор. Вот почему на мать-Церковь нет-нет да покритикуют, что она словно сама забыла вертикаль и служит уже более горизонтали существования, скорее, политическим институтом являясь.

Вот и начинаешь страдать, потому что думаешь, что уходишь из жизни и оставляешь детям мир, в котором нет этой вертикали и ты сам ею не являешься. Может быть, самый мучительный период...

Мы жили от прадедов к дедам, от дедов к отцам, и это покойное существование наше нас чуть-чуть расслабило. Мы привыкли, что мы под защитой, и вдруг на тебе – в чистом поле, на сквозняках, и нам придется называть себя сначала.

Нам придется всякое слово поднять к свету, как яблочко, чтобы увидеть в нем зернышко, и каждое слово назвать с той глубиной и подлинностью, каждое, словно мы в райском саду...